

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ
В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ В. А. ЖУКОВСКОГО

А. С. Янушкевич

В семиотическом пространстве “петербургского текста” существует очевидная лакуна, связанная с эпохой романтизма. В литературоведческой и культурологической традиции изучения “петербургского текста” это звено недооценено как переход от топоса “Северной Пальмиры” XVIII века, по преимуществу панегирического и классицистического, к пушкинско-гоголевскому Петербургу с его синтетической природой. А между тем принципиально важно понять, как в панегирический петербургский текст внедряются пейоративные коннотации и символично-мифологическая образность, столь важная для романтического петербургского мирообраза (достаточно вспомнить эсхатологические мотивы в петербургских повестях В. Ф. Одоевского “Бал” и “Насмешка мертвеца”). И здесь фигура Жуковского, генетически связанного с карамзинской традицией, и в то же время прямого предшественника Пушкина и Гоголя, обретает особый смысл.

Известный русский поэт, “гений перевода” (как его называл Пушкин), В. А. Жуковский прожил в Петербурге (с небольшими перерывами, которые были связаны с его заграничными путешествиями) почти 25 лет (с 1815-го по 1840 г.). Более того, почти все эти годы он жил в самом центре города, в его “сердце”, в Зимнем дворце, точнее, в Шепелевском доме, примыкающем к дворцу.¹ Сначала учитель русского языка великой княгини Александры Фёдоровны (прусской принцессы Шарлотты), будущей российской императрицы, супруги Николая I, затем наставник великого князя Александра Николаевича, будущего царя-освободителя Александра II, он был в эпицентре всех политических событий своего времени,

¹ Подробнее об этом см.: Иезуитова Р. В. Жуковский в Петербурге. Л. 1976.

а в своих “Дневниках”, которые вёл почти всю жизнь, и их летописцем. Государственник и монархист, создатель российского гимна “Боже, Царя храни!”, он сотворил свой петербургский текст, который, несмотря на глубокую оригинальность, в чём-то является репрезентативным для русской романтической культуры, ярчайшим представителем которой был Жуковский.

Считая своей родиной сельские просторы Тульского края, а духовной родиной – Москву, где он учился в Благородном университетском пансионе, которую защищал от французского нашествия и которой посвятил повесть “Марьина роща” (характерный образец московской романтической повести), он приехал в Петербург известным поэтом и вполне сформировавшимся человеком (ему уже было 32 года) и воспринял Петербург сквозь призму своей личной трагедии. В письмах к задушевному другу, племяннице Авдотье Киреевской от 1816-1817 гг. рефреном проходит мысль о невозможности жить в Петербурге, о его холоде и бездушии. Вот лишь несколько показательных фрагментов:

О Петербург, проклятый Петербург с своими мелкими, убийственными
рассеянными!

Въехал в Петербург с самым грустным, холодным настоящим и самым
пустым будущим в своём чемодане...

И город, и люди, в нём живущие, ему тяжелы:

это мумии, окруженные величественными пирамидами, которых величие
не для них существует...²

“Смертоносный петербургский климат” для поэта губителен прежде всего с точки зрения отсутствия вдохновения и воодушевления. Атмосфере петербургской жизни, которую он сравнивает с “африканской степью” и “безжизненной пустыней”, с “обвитым розами скелетом”, тому городу, где “жестокая сухость залезла в мою душу”,³ он противопоставляет мир малой родины, черненско-долбинскую и белёвскую жизнь, восклицая: “О рощи! о друзья, когда увижу вас!”⁴

² Уткинский сборник: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер и Е. А. Протасовой. Под редакцией А. Е. Грузинского. Москва 1904, с. 21, 11. Впервые на эти высказывания Жуковского обратил внимание В. Н. Топоров, рассмотревший их в аспекте становления петербургского текста. См.: Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. Москва 1995, с. 265.

³ Уткинский сборник, с. 12, 21, 22, 19.

⁴ Там же, с. 19.

Безвоздушное пространство Петербурга для Жуковского лишено души:

Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит! Рад всё бросить и убежать к вам, чтобы приняться за доброе настоящее, которого здесь у меня нет и быть не может!.⁵

Петербург для него – “особенного рода магнетизм, убивающий все животворные мысли, необходимые для настоящей жизни”.⁶

Эти исполненные подлинного драматизма инвективы поэта – своеобразный “поведенческий текст”, где неразделимы личные переживания, связанные с историей любви к Маше Протасовой, житейская неустроенность и творческий кризис. Петербургский мир воспринимается и как неизбежная органическая составная часть жизнестроительства. Именно поэтому этот мир не просто образ Петербурга, петербургская жизнь, а именно петербургский текст, сотканный из мировоззренческих и творческих импульсов поэта-романтика. Прошлое (“Минувших дней очарование...”) и настоящее, “здесь” и “там”, душа и бездушие – все эти романтические антитезы определяют семиотику петербургского текста Жуковского. Его вхождение в петербургский мир мучительно, но восприятие этого мира во многом определяется комплексом идей романтического двоемирия.

В 1820 г., находясь в Берлине, Жуковский, осматривая памятники прусским генералам, а также императору Александру I и сожалея о русском беспомоществе, замечает:

Настоящее место для народных памятников не Петербург, а Москва: она была свидетельницей русских подвигов; Петербург ни о чём не напоминает: в нем должен быть один памятник Петру.⁸

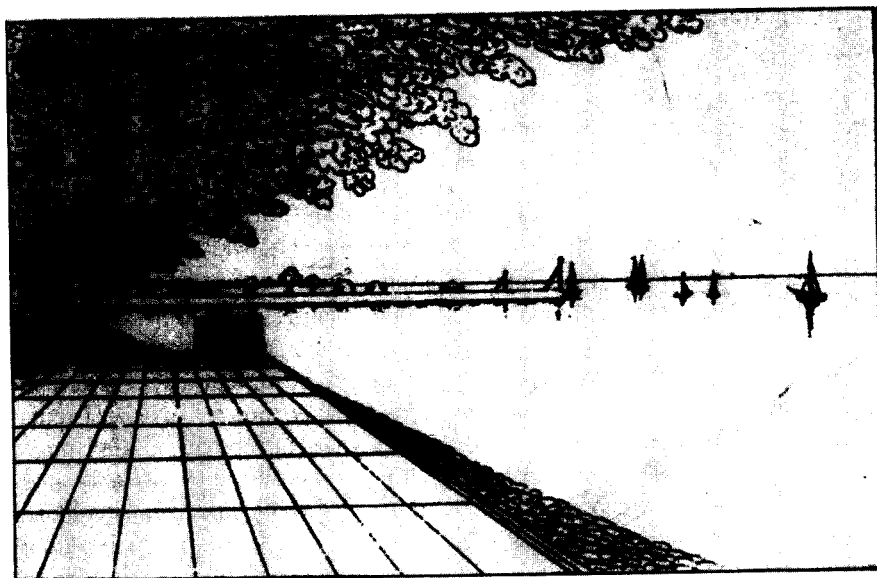
Город без души и без истории – таким предстаёт Петербург в восприятии Жуковского. Даже арзамасские собрания, насыщенные озорством молодости и творческими радостями, где сравнение Москвы и Петер-

⁵ Там же, с. 21.

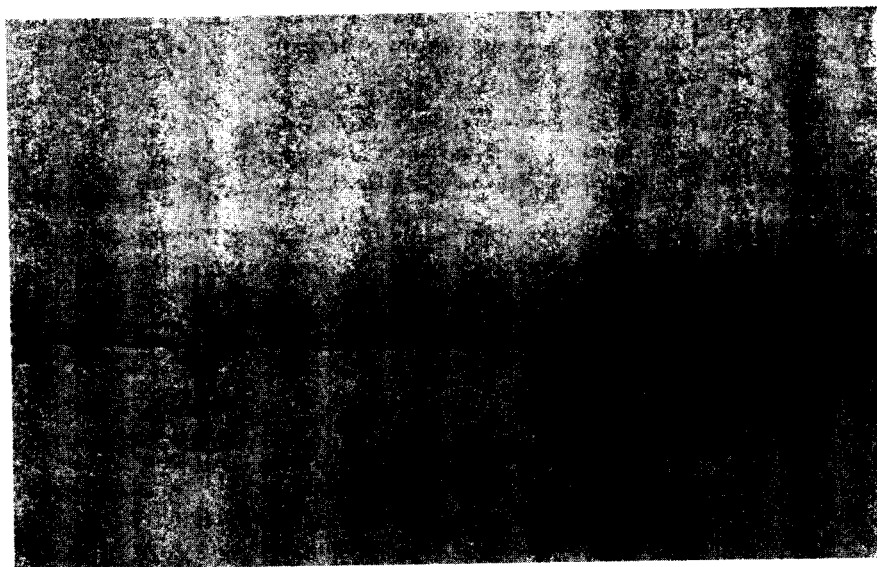
⁶ Там же, с. 10.

⁷ Посылая в письме от ноября-декабря 1817 г. к А. П. Киреевской текст одноименного стихотворения, где говорится: “Зачем душа в тот край стремится, где были дни, каких уж нет...”, Жуковский так комментирует эти стихи: “Этот край – Чернь! Но в Долбине есть жилец говорящий, красноречивый, милый, к которому много прекрасного спаслось и при котором оно живёт, как в обетованном краю” (Уткинский сборник, с. 28).

⁸ Дневники В. А. Жуковского. С примеч. И. А. Бычкова. СПб. 1903, с. 86.



Вид Петергофа. Офорт В. А. Жуковского



Петербург. Рисунок В. А. Жуковского. 27 июня 1839 г.

бурга соответствует характеру смеховой культуры “Арзамаса”, не скрашивают петербургские будни. В письме П. А. Вяземскому от 23 ноября 1815 г. он говорит: “Петербургский климат, несмотря на радости Арзамасские, нездоров для меня: огонь Весты бледнеет...”⁹

Последний мифологический образ (огонь Весты) обретает почти символический смысл.¹⁰ В письмах к Александру Тургеневу после крушения надежд на брак с Марией Протасовой он сравнивает свою душу с сожженной Москвой: “Монахи, энтузиасты, самолюбие сделали против меня союз. Они уже добрались до моей Москвы и грозят её выжечь...”.¹¹ Мотив “убийственного огня”, пожара из сферы мирозерцания и духовной жизни распространяется в пространство петербургского текста. Утрата радостей домашнего очага и семейной жизни сопровождается размышлениями о проблемах российской государственности.

Два значительных публицистических выступления поэта, связанные с Петербургом, пронизаны мотивом пожара и его разрушительных последствий. Статья “Пожар Зимнего дворца” (1838) и дневниковая запись от 2 февраля 1836 г. о пожаре в Лемановом балагане корреспондируют в своей семантике. Амбивалентность мифологемы огня как разрушительно-очистительного начала сопрягает два этих текста в один петербургский метатекст. Любопытно, что в наследии Жуковского не осталось следов его размышлений о катастрофическом наводнении 1824 г., но образ пожара и огненной стихии сопровождает его на протяжении почти всего петербургского бытия как знак беды и катастрофы.¹² Эсхатоло-

⁹ “Арзамас”: Сборник в двух книгах. М. 1994. Кн. 1, с. 304.

¹⁰ В стихотворном арзамасском отчёте от июня 1817 г. отблеск этого образа освещает весь текст: “Это сердце, как Весты лампада, горит не сгорая”, “В каждом душа, как светильник, горящий в пустыне, // Свет одинокий окрестных мглы не осветит!”, “Что за отрада нам знать, что где-то в такой же пустыне // Так же тускло и тщетно братский пылает светильник”, “...Гений унывши // Свой погашает светильник...”, “Рад бы разлить по вселенной, в сияньи ль, в пожаре ль, свой пламень...”, “И все арзамасцы, // Пламень почуя в душе, ко вратам побежали...” (“Арзамас”. Кн. 1, с. 421-425).

¹¹ Письма В. А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. Москва 1895, с. 113.

¹² Истоки “пожарной” темы в связи с Петербургом В. Н. Топоров видит в “Господине Прохарчине” Достоевского (Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ, с. 355, примеч. 77). Думается публицистика Жуковского и его дневниковые записи – пролог к этой теме. О месте статьи “Пожар Зимнего дворца” в контексте публицистики и журналистики николаевской эпохи см. интересные замечания в статье Т. Кузовкиной “Люди горели в удивительном порядке (к формированию

гический петербургский миф наполняется отчётливыми библейскими ассоциациями. Именно в библейских текстах “слово *огонь* нередко употребляется как метафора для означения тяжкого испытания или великой потери”.¹³ В эту сакральную метафористику Жуковский вводит общественно-социальные и этико-философские реалии.

Подробно рассказывая о пожаре Зимнего дворца 17 декабря 1837 г., он говорит и об истории России, и о “судьбе земной во всех её переменах – из счастья в бедствие, из блеска во мрак, из славы в упадок”.¹⁴ Пожар Зимнего дворца становится символом петербургского периода русской истории, её светлых и темных страниц. Вместе с тем для Жуковского Зимний дворец – это дом (Шепелевский дом, примыкающий к Зимнему дворцу, не сгорел), где прошло более 20 лет его жизни. Вибрация понятий “дворец” и “дом” определяет атмосферу статьи Жуковского, которую царь не разрешил печатать, “поелику довольно уже писано в публичных листках о сем несчастном событии”.¹⁵ Статья действительно выпадала “из установленного николаевской эпохой канона”: “трактровка Жуковского могла напомнить Николаю толкование пожара как Божьей кары”.¹⁶

Большой социальный пафос приобретает рассказ Жуковского о пожаре Леманова балагана, где в огне погибло около 300 человек. Для него – это выражение “черт ротозейских”, связанных с русскими нравами:

Можно сказать, что эти несчастные погибли от того же, от чего так часто у нас умирают люди, падающие без чувств от жару, или лежащие полузамерзшие на снегу, или раненные на дороге. Им не смеют подавать помощи, дабы не нажить себе беды от полиции.¹⁷

официального языка николаевской эпохи)”, *Studia russica Helsingiensia et Tartuensia*. VIII: История и историософия в литературном преломлении. Тарту 2002, с. 182-206. Вообще исследования тартуских коллег (Л. Киселёвой, Т. Гузаирова) значительно расширяют представление о петербургском тексте Жуковского в контексте николаевской эпохи.

¹³ Библейская энциклопедия. М. 1891, с. 525.

¹⁴ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений в 12 т. Под редакцией, с биографическим очерком и примечаниями проф. А. С. Архангельского. СПб. 1902. Т. 10, с. 63.

¹⁵ Жуковский В. А. Сочинения. СПб. 1885. Т. 6, с. 626.

¹⁶ Кузовкина Т. “Люди горели в удивительном порядке (к формированию официального языка николаевской эпохи)”, с. 197-198.

¹⁷ Жуковский В. А. Из дневников 1827-1840 годов. Публикация, вступление и примечания А. С. Янушкевича // Наше наследие 1994. № 32, с. 46.

Здесь же Жуковский с болью говорит о равнодушии “лучшего петербургского дворянства”, которое “у нас представляет всю русскую европейскую интеллигенцию”, собравшегося в тот же трагический день в доме Энгельгардта на очередной бал и равнодушного к трагедии.

Рассказывая о двух пожарах, Жуковский подчеркивает личное мужество и самоотверженность императора в духе официальной идеологии и “патерналистического самодержавия”.¹⁸ Но вместе с тем трагические события рожают характерные оппозиционные настроения поэта. Он говорит о “всеобщем бесчувствии” народа и общества: “Каждый сидит про себя и не заботится о своём товарище; они в одном балагане, и кажутся в одном обществе, но все порознь и, кажется, готовы даже рвать своего товарища; спусти их всех с цепи, они разорвут и хозяина, и перегрызут друг друга”.¹⁹ Если пожар дворца выводит трагическую ситуацию в пространство высокой сакральной эсхатологии, то пожар балагана как своеобразного символа общественной жизни тяготеет к семантике *parodia sacra*.

В орбиту петербургских впечатлений Жуковского включаются подробные письма к А. И. Тургеневу о событиях 14 декабря 1825 г., которые поэт наблюдает из окон Зимнего дворца, принцессе прусской Луизе о холерном возмущении на Сенной площади, С. Л. Пушкину и А. Х. Бенкендорфу о последних минутах Пушкина. Каждое из этих петербургских событий обретает в интерпретации Жуковского масштаб национальной трагедии и пронизано отсветами огня, пожара, пламени.

В этих мифопоэтических отсветах рассуждения о русском самодержавии получают отчётливую петербургскую прописку. Образ Петра I с семантикой камня как символа Петербурга и российской государственности дополняется библейскими ассоциациями огня.

В дневниковых записях 1828 г., связанных с педагогической деятельностью, Жуковский много и неоднократно рассуждает о предназначении русского государя и его власти. Осуждая кровавые деяния и зверства Ивана Грозного, он говорит о любви к России Петра Великого, который “знал, что недоставало его народу, но он за то не презирал его”, акцентирует его действия, имеющие целью “поставить русских на ту ступень, на которой стоят народы, более их образованные”.²⁰

¹⁸ Об этом см.: Киселёва Л. Н. Становление русской национальной мифологии в николаевскую эпоху (сусанинский сюжет) // Лотмановский сборник. М. 1997. Вып. 2, с. 285.

¹⁹ Наше наследие 1994. № 32, с. 46.

²⁰ Там же, с. 39.

Однако уже в статье “Воспоминания о торжестве 30 августа 1834”, написанной по случаю торжественного открытия на Дворцовой площади Александрийского столпа, Жуковский бросает взгляд на монумент Фальконе и следующим образом характеризует его:

Там, на берегу Невы, подымается скала, дикая и безобразная, и на той скале всадник, столь же почти огромный, как сама она; и этот всадник, достигнув высоты, осадил могучего коня своего на краю стремнины, и на этой скале написано *Пётр...*²¹

В петербургском тексте русской истории фигура Петра I обретает у Жуковского двойственный характер. Он своею рукою “обтесал” безобразную скалу, говорит автор “Воспоминаний о торжестве 30 августа 1834”. В стихотворении “В Сардамском домике” (1839) поэт заявляет:

Здесь колыбель империи твоей,
Здесь родилась великая Россия!²²

Он прекрасно ощущает исторический смысл деяний Петра, но в свете европейских впечатлений и особенно революционных событий 1848 года, невольным очевидцем которых он оказался, деятельность Петра получает новое звучание. Уже в дневниковой записи от 27 июня 1839 г., передавая свои впечатления от “чудно воздвигнутого” за один год Зимнего дворца, Жуковский рассматривает его как “совершенный образец России” и так это комментирует:

...огромно, без точности, без общей связи, выражение одной общей воли, которая, повелевая, рабствует. Во всех мелочах отражает тот характер, который дал России Пётр Великий: *Скорей во что бы то ни стало*. Мы не идём вперед, а с к а ч е м от пункта к пункту, вперед ли, назад ли, всё равно.²³

В своей итоговой книге прозы “Мысли и замечания” (1840-е гг.) Жуковский считает, что Петр I “искажил” представление русских о самодержавии,²⁴ подчинив церковную власть светской.

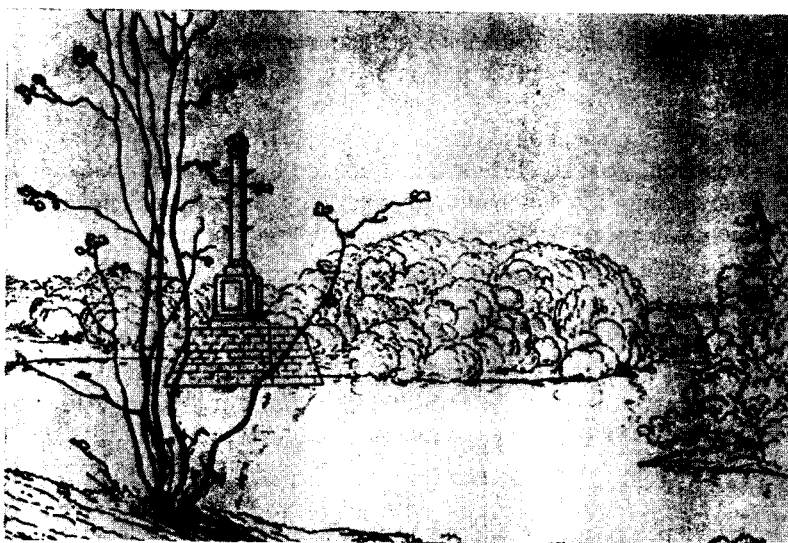
И по своему мирозерцанию, и в литературной практике Жуковский никогда не был урбанистом. И его первое знаковое произведение “Сельское кладбище”, и своеобразное завещание – стихотворение “Царско-

²¹ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 10, с. 31.

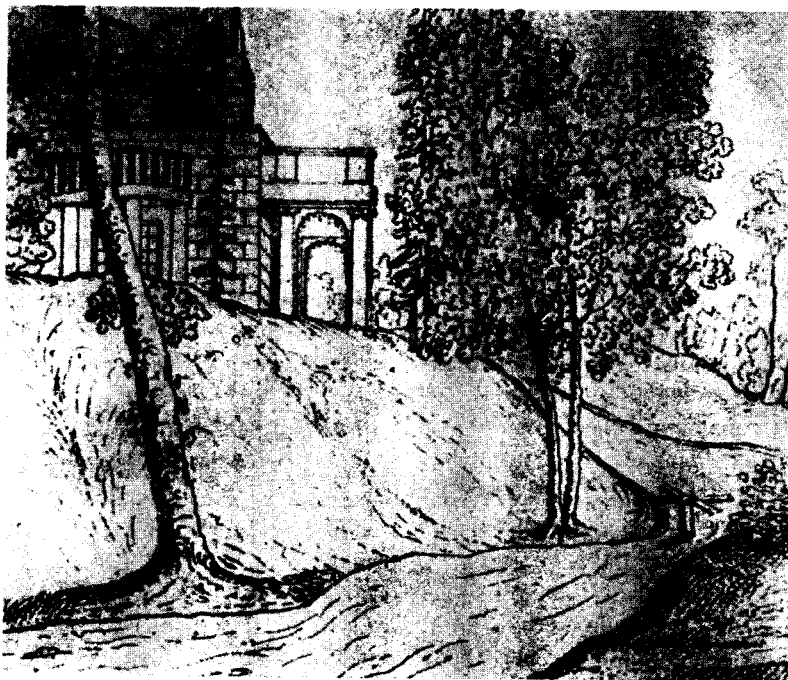
²² Там же. Т. 4, с. 28.

²³ Дневники В. А. Жуковского, с. 500-501.

²⁴ Наше наследие 1995. № 33, с. 54.



Царское Село. Чесменский обелиск. Гравюра и рисунок
В. А. Жуковского. 1820-е гг.



Елизаветин павильон. Офорт В. А. Жуковского. 1823 г.

сельский лебедь” были обращены к идиллическому миру тишины и покоя. И всё-таки он оставил десятки рисунков с видами Москвы и Рима, Берлина и Венеции, Неаполя и швейцарских городков. Почти с фотографической точностью он воспроизводил достопримечательности этих столь различных городов. Только Петербург не нашёл в нём своего живописного летописца. Знавший и ценивший архитектуру, Жуковский практически проигнорировал ансамбли Петербурга, его мосты и набережные.

Зато он стал певцом и живописцем его пригородов – Петергофа, Гатчины, Царского Села, но прежде всего Павловска. Его альбом гравированных “Видов Павловска”, элегия “Славянка”, десятки павловских стихотворений, пронизанных очарованием парков и сооружений, стали поистине его “путешествием по садам Романтизма” и вместе с тем выражением его концепции “домашнего самодержавия”. В своих многочисленных рассуждениях о природе русского самодержавия, связанного с понятием “Святая Русь”, Жуковский подчёркивал необходимость “домашних” отношений между русским царём и его подданными, что зафиксировано в формуле: “отец и дети”. По мнению Жуковского, вся история русского самодержавия свидетельствовала о необходимости именно таких отношений. Будучи наставником великого князя Александра Николаевича, он пытался не только внушить ему эту идею, но и реализовать её в процессе путешествия с наследником по России.

“Топосным” отзвуком этой концепции стала оппозиция “официального” Петербурга и “домашнего” Павловска. Если Петербург так и остался для поэта холодным и бездушным выражением официоза, плацем для военных парадов и торжеств, то Павловск, с его “семейственной рощей”, “Розовым павильоном”, летними резиденциями монарших особ, воспет в цикле павловских посланий 1819-1823 гг. как обитель дружества, семейного придворного быта, вдохновения. В посланиях, обращенных к императрице Марии Фёдоровне и великой княгине Александре Фёдоровне, к фрейлинам и другим придворным, Жуковский развивает принципы своей домашней поэзии, ведущей начало от арзамасской галиматии. Игровое начало, свойственное этой поэзии, дополняется великолепными пейзажами Павловска (“Славянка”, “Подробный отчет о луне”) или эстетической рефлексией (“Невыразимое”).

Петербург возникает в сознании Жуковского как символ государственности, как новый этап исторического развития России лишь в минуты торжества. Именно это слово-понятие входит в заглавие статьи “Воспоминание о торжестве 30 августа 1834”. Именно в этой статье, повествующей о водружении Александрийского столпа, Жуковский впервые одушевляет Петербург. Колонна как “знамение идущего времени” и

выражение “спасительного христианства”, “Божьей Правды”, с фигурой “крестоносного ангела”, становится для Жуковского прежде всего символом “гражданского благоденствия, вверенного самодержавию”.²⁵ Впервые Жуковский всматривается в Петербург глазами поэта. Его описание площади, панорамы города накануне и в день самого торжества пронизано обильными поэтическими образами и метафорами, связанными с поэтикой невыразимого. “Здесь поэзия безмолвна, и близость предмета давит воображение, напрасно хотящее втеснить его в слова и звуки”²⁶ – эти слова рождают в сознании поэта ряд ассоциаций, сопоставлений, позволяющих говорить о неоднозначности восприятия Жуковским петербургского текста.

Всматриваясь в ансамбли Дворцовой площади и возведенной Александровской колонны, он замечает:

...то было поразительное чувство высокого, неотделимое от предмета, его возбуждавшего; такое же чувство, какое потрясло мою душу, когда представились мне в первый раз Альпы, когда я увидел Рим посреди его запустевшей равнины, когда подходил к храму св. Петра и остановился под его изумительным сводом.²⁷

Отчетливые римские ассоциации дополняют общую концепцию “Москвы – третьего Рима” петербургскими проекциями. Жуковский – государственный и монархист, воспекает мощь и величие Петербурга в день торжества. Но Жуковский – поэт-романтик прозревает сквозь пожары, наводнения, официозное бездушие двора лик другого Петербурга, другого русского мира. Не случайно петербургский текст в его немногочисленных рисунках – это безграничная гладь Невы в таинственной дымке и открывающиеся горизонты одомашненных пригородов, прозрачный свет белых почей и лунного пейзажа. Он прозревает иной Петербург. В его романтическом двоемирии, где неразделимы “здесь” и “там”, “мечта” и “действительность”, Петербург выступает как живое существо, противоречивое и загадочное. Он пытается проникнуть в его душу – и открывает его бездушие; он описывает его мощь и силу – и фиксирует безжизненность “мумий, окруженных величественными пирамидами”; в отвесах огня и пожаров он постоянно ощущает холод Зимнего дворца, давление официоза, гнет непростых отношений с двором – и ищет теплоту семейных отношений и “огонь Весты” в Павловске и Царском Селе.

²⁵ Жуковский В. А. Полное собрание сочинений. Т. 10, с. 32.

²⁶ Там же, с. 29.

²⁷ Там же.

“Петербургский текст” Жуковского как часть его романтической мифопоэтики не столько конкретный и реально городской, столичный, сколько смоделированный по принципам романтического мироустройства и жизнестроительства. И “очарованное Там”, и “прогулки по садам Романтизма”, и жизнь души, и встречи с Музой – всё это романтический поэт находит не в реальном Петербурге, а в его идеальном двойнике. Сквозь библейскую метафористику огня он прозревает “таинственный символ его завета”. Символизация – важнейшее звено в открытии лица Петербурга. И оттого Петербург Жуковского призрачен в своей конкретности и конкретен в своей призрачности. Это скорее вообще даже и не город, а мир-город, созданный по законам романтического мифотворчества.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

- 1 Вид Петергофа. Офорт В. А. Жуковского.
- 2 Петербург. Рисунок В. А. Жуковского. 27 июня 1839 г.
- 3 Царское Село. Чесменский обелиск. Гравюра и рисунок В. А. Жуковского. 1820-е гг.
- 4 Елизаветин павильон. Офорт В. А. Жуковского. 1823 г.